

Текст · 30 октября 2023, 09:31

Ольга Ромашова,

«Мы вернулись если и не победителями, то определенно со щитом». Как голодали советские политзаключенные

30 октября — День политического заключенного. Впервые его провели 59 лет назад Кронид Любарский, Алексей Мурженко и другие советские политзеки, сидевшие в мордовских и пермских лагерях. Они стали ежегодно устраивать однодневные голодовки, требуя признания своего политического статуса, адекватной медицинской помощи и связи с родными. Вспомнить об этой акции в 2023 году призвали Алексей Навальный, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и другие современные политзеки. Голодовки были одной из немногих форм протеста, доступных заключенным в СССР: с их помощью они пытались бороться с произволом следователей, тюремной и лагерной администрации, а иногда ставили и более глобальные цели. Из десятков свидетельств таких акций, которые сохранились в мемуарах, «Медиазона» выбрала семь — с 1920-х по 1980-е годы.

Анна Гарасева. «Я жила в самой бесчеловечной стране»

Родилась в 1902 году в Рязанской губернии. В июле 1925 года окончила Рязанскую фельдшерско-акушерскую школу и переехала к сестре Татьяне в Ленинград. Уже через месяц девушек арестовали по делу об участии в

анархо-террористической организации. Позже их перевели в Лубянскую тюрьму в Москве. В марте 1926 года Гарасевых приговорили к трем годам заключения. Начальник 1-го секретного отделения ОГПУ Анатолий Рупсовский пригрозил Анне отправкой на Соловки, и она объявила голодовку.

Соловки были не только серьезны, но и смертельны, мы уже знали о тамошних зверствах и расстрелах. Поэтому я объявила голодовку. Глупую голодовку, с водой, а это нельзя, если сердце плохое, потому что начинается отек. Сначала меня держали в общей камере, чтобы могла соблазнять еда, затем перевели в специальную, маленькую и узкую, как ящик, а главное — душную. <ᵝ.ᵝ Там воздух поступает только через дверной глазок, больше никаких отверстий нет, с потолка свисает электрическая лампа в тысячу свечей, стоит топчан, на котором ты лежишь, и лишь узкая щелочка отделяет его от другой стены. Но главное — духота. Я уже вся отекала, чувствовала себя очень плохо и полагала, что здесь и придет мне конец. Вероятно, каждый человек хочет, чтобы о нем после смерти осталась хоть какая-то память. У меня с собой было два запретных предмета — английская булавка и крохотный огрызок химического карандаша, который я старательно прятала при обысках. Ими я и написала на стене, ниже топчана, два слова: «Анна Гарасева». Не помню, какой это был день голодовки.



Фото: «Рязанский Мартиролог», «Это прямо здесь: Москва. Топография террора». Коллаж: Борис Хмельный / Медиазона

Но на одиннадцатый день — счет дням я все-таки вела, — вдруг открылась дверь моей камеры, и в нее втиснулся крупный широкоплечий мужчина. Раньше я его никогда не видела, и до сих пор не знаю, кто это был. Может быть, сам Ягода^[1]? На его плечи был накинут белый халат врача, он сел на мой топчан и очень мягко и ласково спросил: «Девочка, ну почему такая страшная голодовка?» — «Я не поеду на Соловки!» — ответила я ему через силу, но твердо. «А кто вам сказал, что вы едете на Соловки?» — удивился вошедший. «Рутковский.» — «Ну, что такое Рутковский! — ответил он пренебрежительно. — Сейчас я сам пойду на кухню и скажу, чтобы вам приготовили хороший крепкий бульон, и все будет хорошо. Договорились?». С этими словами он встал и вышел. <ÿ.ÿ Голодовку я кончила, но в таких случаях никогда не знаешь, что ты выиграл и добился ли, чего хотел.

Сестер Гарасевых этапировали не на Соловки, а в Верхнеуральский политизолятор. В 1928 году после окончания срока заключения Анну отправили в ссылку в Казахстан и спустя два года освободили досрочно. В 1960-70-х годах она была помощницей Александра Солженицына, когда тот работал над книгой «Архипелаг ГУЛАГ» в Рязани. Татьяна Гарасева тоже была досрочно освобождена, но в 1936 году ее вновь арестовали и приговорили к десяти годам. В 1948 году она была арестована в третий раз и отправлена на «вечное поселение» в Красноярский край, где провела шесть лет. В 1958 году реабилитирована. Вернувшись в Рязань, тоже подружилась с семьей Солженицына и помогала сестре прятать фрагменты его рукописей.

Марк Гершенгорен. «Лагерные истории»

Родился и вырос в Польше. В 1927 году не захотел служить в польской армии и бежал в СССР, но был задержан пограничниками. Гершенгорену назначили четыре месяца заключения за незаконный переход границы и этапировали в Житомирскую тюрьму. Однако по истечении срока его не выпустили, и он объявил голодовку.

На мой вопрос, почему меня не выпускают, я конкретно ответа так и не имел. Прошло месяца два или три. Это было еще до того, как я написал, сказал им — все, я больше не принимаю пищу, объявляю голодовку. Меня тут же, сразу, спустили в подвал, в одиночную камеру, и я не брал ничего, ни воды, ничего абсолютно. На третий, четвертый или на пятый день туда спустили еще одного человека. Он довольно интересный, представился членом ЦК румынской компартии. Тоже объявил голодовку, но у него с собой был сахар. Он мне рассказывал про себя, насколько я понимал.



Фото: «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы». Коллаж: Борис Хмельный / Медиазона

Пошел одиннадцатый день, пришел врач, пришли два верзилы, бывшие бытовики, и меня начали кормить искусственно — расширяли рот и из, как это называется, со шлангом — из грелки, но не грелки, а

чего-то такого [лили в горло]. Но каждый день туда заходила уборщица, пожилая полька; и она, значит, убирала. И вот на пятнадцатый или шестнадцатый день я уже не ходил, я уже лежал, и она как-то посмотрела на меня, села на кровать и говорит: «- *Syni, z odległych krain ludzie powracają, ale że z tamtego świata — nikt*^[2]». Ну, действительно, на шестнадцатый день мне велели написать, что я согласен отменить голодовку, я написал, меня обратно — в одиночную камеру спецкорпуса.

Позже Гершенгорена этапировали во Владивосток, и там объявили новый приговор — 10 лет исправительно-трудовых лагерей по обвинению в шпионаже. Отбывал наказание в Севвостлаге, освобожден в 1947 году.

Хава Волович. «О прошлом»

Родилась в 1916 году в городе Мена Черниговской области. Работала корректоркой в редакции газеты «Колхозный труд». Волович арестовали в августе 1937 года и поместили в районную тюрьму. Первую неделю ее водили на допросы каждую ночь, а днем не давали спать. В конце концов она отказалась вставать с койки, и ее отправили в карцер.

Карцер больше соответствовал моему представлению о тюрьме, чем наша большая, светлая камера.

Маленькая каморка в подвале, с низким сводчатым потолком, с зарешеченным оконцем без стекла и низеньким лежаком, привинченным к цементному полу.

Я улеглась на лежак и сразу уснула.

Ночью я проснулась от страшного холода. Я пришла в тюрьму в ситцевой блузке, сатиновой юбке и туфлях на босу ногу. Других вещей у меня не было. И тут-то я почувствовала, «жаба тити дает». Этот первый тюремный холод я никогда не забуду. Я просто не умею, не в состоянии его описать. Меня морил сон и будил холод. Я вскакивала, бегала по камере, на ходу засыпая, ложилась и опять вскакивала.

Утром принесли хлеб и воду. Я отказалась принять это. Когда надзиратель, невзирая на мой отказ, поставил кружку и положил хлеб на лежак, я выбросила хлеб в окно, а водой сполоснула лицо и руки.

И на второй, и на третий день я делала то же самое. На третий день в обед мне принесли миску густого, наваристого супу и ломоть белого хлеба. Я ничего не приняла.

— Ах, дурочка, дурочка! — проворчал надзиратель. Пришел корпусной с врачом, и меня спросили, чего я добиваюсь.

Я заявила, что не буду принимать пищи до тех пор, пока мне не разрешат читать книги или, в крайнем случае, шить или вышивать. Они переглянулись и вышли из камеры.

А через минуту вошел пожилой надзиратель, присутствовавший при разговоре, и положил на лежак махорочную закрутку.

— Закури, легче станет!

До этого я никогда курить не пробовала. Не знала, как и зачем это нужно — курить. Я думала, что дым заглатывают в желудок, что казалось мне отвратительным. Но чтобы сделать приятное доброму человеку, я готова была проглотить хоть тряпку. И я стала глотать дым. Он волнами заходил у меня в животе, закружилась голова, затошнило, и вместе с тем появилось какое-то блаженное состояние забытья и покоя.

По-прежнему отказываясь от пищи, я стала просить у этого надзирателя закурить, когда он дежурил. Думая, очевидно, что я блатнячка и курю с пеленок, он не отказывал.



Фото: «Бессмертный барак». Коллаж: Борис Хмельный / Медиазона

Я голодала десять суток. Принимала только воду. Есть не хотелось. Во мне была такая легкость, что казалось — при желании я могу взлететь. Я превратилась в хвостину и до сих пор не понимаю, откуда брались у меня силы двигаться.

Меня навещали врач с корпусным. Я встречала их с высоко поднятой нечесаной головой. (У меня отобрали гребешок, и волосы превратились в паклю.) Только холод мучил по-прежнему.

Однажды я заявила корпусному, что решила во всем сознаться, и попросила дать мне побольше бумаги и карандаш.

Мне немедленно принесли требуемое, и я написала, что действительно состояла в организации и была в ней секретарем и казначеем; что «у нас» есть подпольная типография; что вместе с крупной суммой валюты, полученной из-за границы, она хранится в выгребной яме от недавно снесенной уборной возле старой синагоги; что там же находятся списки всех членов организации.

И отправила свое сочинение следователю.

Поздно вечером меня привели к следователю. Он был в кабинете один. Я нахально выпучила глаза.

— Зачем обманула? — спросил он.

— Так вас же правда не устраивает.

На допросы меня больше не вызывали.

Утром на одиннадцатые сутки (вместо пятнадцати) меня выпустили из карцера и отвели в камеру. Женщины — их стало больше — тепло встретили меня, расчесали мою кудлатую голову, заставили поесть...

Как раз в эти дни наш следственный корпус был взбудоражен новостью: камера «шостенцев», то есть работников завода из города Шостки, обвиняемых во вредительстве, объявила голодовку в знак протеста против побоев и пыток на допросах. Накануне во

время прогулки кто-то подбросил нам записку с призывом присоединиться к голодовке. Утром мы отказались принять пищу.

На стенах уборной появились нацарапанные призывы: «Жены и сестры, присоединяйтесь к нашему протесту!», «Нас пытаются!».

Недолго думая, я сунула «и свое жито в чужое корыто», нацарапала крупными буквами: «Протестуйте против побоев в НКВД!» «НКВД — сталинская опричнина». И очень разборчиво подписалась. А потом еще добавила: «Наша страна превращается в необъятный город Глупов с Угрюм-Бурчеевым^[3] во главе».

Все мои творения, конечно, списали и доставили следователю. Но в карцер не посадили.

Взвинченность этого дня, вызванная страхом за мужей, призывами и голодовкой, вечером завершилась общей истерикой.

На этом наша голодовка кончилась. Утром женщины стыдливо приняли завтрак.

Хаву Волович приговорили к 15 годам исправительно-трудовых лагерей по обвинению в антисоветской агитации. В 1953 году была освобождена, еще три года находилась в ссылке, в 1956 году вернулась на родину.

Валерий Ронкин. «На смену декаблям приходят январь»

Родился в 1936 году в Ленинграде. Отучился в Ленинградском технологическом институте, работал инженером-технологом. В 1965 году Ронкина и еще восьмерых человек арестовали за создание подпольного маркистского кружка, написание книги «От диктатуры бюрократии — к диктатуре пролетариата», распространение самиздата «Колокол» и листовок. В том же году Ронкина приговорили к семи годам заключения и трем годам ссылки по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, а также в участии в антисоветской организации. С 1966 года он отбывал наказание в Дубравлаге в Мордовии, где вскоре попал в помещение камерного типа (ПКТ).

В середине января 1968 года я наконец вышел из ПКТ в зону. После первых приветствий меня отвели в сторону Мошков^[4] и Калниньш^[5] и предложили обсудить вопрос о голодовке, так как «начальство оборзело вовсе». С Юлием они уже в принципе договорились. Я согласился, и мы стали определять круг людей, с которыми следовало поговорить на эту тему.

Заклученные, начинавшие свои лагерные биографии еще в сталинские годы, от участия в голодовке отказались (нас это и не удивило — слишком тяжел был их прежний путь, да и до конца срока многим оставалось еще больше, чем любому из нас, — сроки-то были двадцатипятилетние), но помогли нам кто чем мог: советами (Дмитро Верхоляк,

фельдшер в УПА^[6], а потом и в лагерях, преподавал нам режим входа и выхода из голодовки), связью с волей и II-м л/о^[7]. К моему большому удивлению, в голодовке согласился участвовать Юрий Шухевич^[8], хлебнувший столько, сколько нам и не снилось. Зато его молодые земляки отказались. Между собой они решили не участвовать в общей политической акции с «москалями», нам объяснили более уклончиво. На второй день после начала голодовки один из молодых украинцев примкнул было к нам, но мотивировал свои действия тем, что у него менты изъяли какие-то (очевидно, не форменные) брюки, — перепуганное начальство брюки вернуло, и на сем «параллельная» голодовка закончилась.

В нашей голодовке согласились участвовать Юлий Даниэль^[9], Юрий Шухевич, Борис Здоровец^[10], Виктор Калниньш, Сергей Мошков и я. Голодовку мы начали в середине февраля, до этого момента мы готовились.

Подготовка заключалась в выработке требований и сообщении на волю о самом факте голодовки. Сообщили мы и нашим друзьям на II-м. <Ў.Ў К сожалению, на II-м нас не поддержали.

Было решено не концентрировать внимания на бытовых неурядицах и не касаться политики.

Мы требовали примерно следующего:

— свобода вероисповедания — разрешение носить крестики, пользоваться религиозной литературой и право получать ее;

— свобода творчества — разрешение писать, рисовать и передавать родным написанное и нарисованное;

— контроль общественности за положением заключенных — отмена наказаний в виде лишения свиданий и отмена ограничения переписки;

— принятие КГБ на себя ответственности за все, что происходит в зоне;

— создание кодекса мест заключения вместо нигде не опубликованных инструкций.

Было решено, что коллективного заявления мы подавать не будем. Каждый подаст его от своего имени, но при этом тексты всех заявлений будут совершенно идентичными. <ÿ.ÿ Однажды утром мы по одному появились на вахте и вручили дежурному свои заявления.

Предварительно мы применили тактику «выжранной земли»: так как в подобных ситуациях начальство могло некоторых «баламутов», а то и всю компанию отправить на этапы, при возникновении любой напряженности подобного рода все «колхозные» продовольственные запасы, чтобы в спешке не делить и не таскаться на этапе с лишним грузом, все эти запасы съедались.



Фото: «Электронный архив фонда Иофе», «Открытый список». Коллаж: Борис Хмельный / Медиазона

Нас немедленно собрали в карцере, а на следующий день постригли и этапировали в Явас. Майор Анненков при любых затруднительных положениях, когда обычный человек чешет у себя в затылке, стриг заключенных — так было и во время пожара в карцере, когда мы с Юлием отбывали свои 6 месяцев: выпустив из горящего здания, нас первым делом постригли. <ѿ.ѿ В Явасе нас разместили в разных камерах следственного изолятора лагуправления, находившегося при 2-м л/о (женский «бытовой» лагерь).

Сразу же нас осмотрела врач, женщина лет сорока с лишним. Она отнеслась к нам очень дружелюбно: все время повторяла, вздыхая: «Что же вы делаете, мальчики, что же вы делаете?!» И, шепотом: «Весь мир говорит о вас, весь мир!» Потом нас разместили по разным камерам.

На следующий день появилась другая врачиха — та пришла в форме МВД и с ходу заявила мне, что всех нас надо бы расстрелять. Она же участвовала и в мелкой провокации. Еду нам приносили трижды в день — утром приносили завтрак и убирали ужин, потом убирали завтрак, оставляя обед, который вечером меняли на ужин. Мы сначала хотели выбрасывать пищу в парашу, но затем порешили вообще к ней не прикасаться. Однажды ко мне явился «кум со всей охраной», в том числе и с эскулапшей в форме, которая заявила: «Когда уносили завтрак, забыли взять пакетик с сахаром. Вы сахар съели, и голодовка считается оконченной», — но сахар оказался там, где и лежал. Эту же комедию они разыграли и в других камерах.

Мы постоянно переговаривались, хотя кричать стало тяжело, но зато как приятно было в ответ на требование «прекратить разговорчики» сказать менту: «А вы посадите меня на пониженное питание!» Как приятно было осознавать, что оскорбительный метод давления на психику через желудок теперь не срабатывал.

<ÿ.ÿ

На пятый день голодовки нас начали принудительно кормить. Я знал, что при сопротивлении зонд могут ввести и через нос, что очень болезненно, поэтому, когда меня посадили на стул, завернув руки за спинку, и начали разжимать рот, я не стал сопротивляться — позволил ввести шланг и залить в свой желудок питательную смесь. Несколько капель попало в рот, и было очень обидно, что я не получаю в полном объеме вкусовых ощущений, обида эта подвигла меня на следующий шаг — как только изо рта вынули шланг, я напряг живот, и все содержимое моего желудка оказалось на полу.

Мне снова заломали руки и ввели в вену глюкозу.

Готовясь к голодовке, мы не надеялись достичь каких-нибудь конкретных результатов, но мы и не шли на самоубийство. Нашей задачей было привлечь внимание к полному произволу, творимому в лагерях, поэтому мы заранее договорились, что кончим эту голодовку через десять дней.

Наконец мы дали Крутю^[1] согласие на коллективные переговоры. Встреча состоялась в дежурной комнате изолятора. <ÿ.ÿ Переговоры велись долго и

бессмысленно — мы заранее знали, что будет говорить капитан. Все его возражения парировались примерами из нашей лагерной практики. <Ÿ.Ÿ
Наконец Круть объявил нам, что кодекс мест заключения будет разрабатываться и в него могут войти некоторые наши предложения. Надо было как-то выходить из ситуации, и мы, отлично зная цену обещаниям гэбэшников, сделали вид, что поверили всему этому, в том числе и обещанию Крутя взять лично на себя всю ответственность за лагерные репрессии.

Договариваясь о снятии голодовки, мы поставили одним из условий возможность сообщить близким о том, что участники живы и здоровы. Круть на это, естественно, согласился: «Это и в наших интересах. Однако я хотел бы знать, каким образом ваши близкие узнали о голодовке». «На все воля Божья», — отвечивал Здоровец. Потом уже я спросил его, не было ли такое заявление в некотором смысле святотатством, «ведь ты сам говорил, что отправил сообщение и знал, что то же самое сделали и другие». «Ничуть, — ответил мне Борис, — на то Божья воля. И в том смысле, что я догадался, как это сделать, и в том, что мое сообщение дошло».

Уже потом мы узнали, какого, сами того не подозревая, мы наделали шума. Юлий был самой известной фигурой в нашей команде. О нем и до этого говорили во всем мире. Юра Шухевич был широко известен в кругах украинской интеллигенции и в Союзе, и за рубежом. Калниньш представлял латышскую, или даже прибалтийскую, оппозицию. Наконец, Сергей и я были марксистами. И внутри нашей страны, и за границей оказалось достаточно

людей, идейно связанных с голодовщиками. Я слышал, будто соответствующее крыло баптистов объявило, что в случае несчастья со Здоровцом они устроят на Красной площади самосожжение, — а еще и о том, что будто бы папа римский молился за нас во время голодовки. Не знаю, так ли все это.

По выходе из голодовки произошел некий курьез. Это теперь я могу так назвать это событие, а тогда все выглядело по-другому. Сергей не послушал совета Верхоляка и не оправился перед голодовкой — после ужина у него начал побаливать живот, к ночи боли стали невыносимыми. Вызвали фельдшера, поставили болящему клизму, он посидел на параше — вода стекла, и боли уменьшились. Но через некоторое время боль усилилась, мы снова стали стучать в дверь — появился дежурный офицер, спросил, в чем дело. Офицеру объяснили, что нужен фельдшер и клизма. «Но ему уже ставили клизму», — ответил офицер и стал закрывать дверь. Тогда голос подал Борис Здоровец: «Вы ошиблись, гражданин офицер, это на особом режиме положена одна клизма, а мы на строгом». Офицер призадумался и вызвал фельдшера. Вторая клизма помогла, и все кончилось благополучно.

Итак, мы вернулись в Озерный если и не победителями, то определенно со щитом.

Ронкин отбыл назначенный срок полностью, в ссылке находился в Коми. После освобождения жил с семьей в городе Луга Ленинградской области. В 1989 году участвовал в первой массовой демонстрации, организованной «Ленинградским

народным фронтом», на следующий год — в первых альтернативных выборах.

Ирина Ратушинская. «Серый — цвет надежды»

Поэтесса, писательница и диссидентка. В 1983 году была осуждена на семь лет заключения и пять лет ссылки по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. Отбывала наказание в Дубравлаге. В заключении неоднократно держала голодовки. В августе 1983 года политзаключенные Ирина Ратушинская, Татьяна Великанова и Раиса Руденко объявили голодовку из-за отправки в штрафной изолятор двух других диссиденток — Татьяны Осиповой и Натальи Лазаревой — за отказ носить нагрудные знаки.

— Руденко, Великанова, Ратушинская! В больницу! Мы должны вас изолировать как голодающих...

Это вваливаются офицеры с дежурнячками. Это значит, они решили нас троих насильственно кормить: заковывать руки в наручники, разжимать рот железом, кроша зубы, загонять в горло шланг и заливать два литра какого-то раствора. Процедура, здорово смахивающая на изнасилование — но таков «гуманный советский закон».

Мне про эту процедуру рассказывала Таня Осипова — ее так мордовали через день всю четырехмесячную голодовку. Спаси жизнь голодающего? Ерунда — и с насильственным кормлением никто не выживает, если дело длится долго. Цель другая — растянуть

мучения не на два месяца, а на год-полтора. Если выдержит — все равно умрет, если не выдержит — снимет голодовку, а значит — сдастся. Поэтому все организуется не так, чтоб сохранить силы, а так, чтоб мучительнее. В сжавшийся от голодовки желудок закачать сразу два литра — дикая боль. Мы вон на седьмой день с трудом выпиваем полкружки воды зараз. Улегшееся было чувство голода, едва что-то попадает внутрь, возобновляется с новой силой. «Пусть чувствует!» Потому и кормление два-три раза в неделю. Да еще после этого держат минут сорок в наручниках, не давая встать — чтоб не было рвоты. Голодающие мерзнут даже при нормальной температуре — так держать их в помещениях похолоднее! Откуда у заключенного теплое одеяло или шерстяная одежда? Пусть, пусть померзнут! Ну и так далее.

Теперь, значит, все это предстоит и нам. Тут уж ясно, что это — карательная мера в чистом виде: за тринадцать суток голодовки никто не умирает и так. Конечно, у эков меньше жизненной энергии, чем у обычных людей. Организм изможден, и переход от недоедания к голодовке — совсем не то, что от изобильной пищи к лечебному голоданию. Но все же это наша первая голодовка, мы еще не дошли до той последней точки, когда у тела нет естественных запасов даже на день.

<Ÿ.Ÿ

Запирают нас в маленькую палату в хирургическом отделении и до завтра оставляют в покое. Мы совещаемся, как быть? О том, чтобы снять голодовку, конечно, речь не идет. Отбиться от насильников —

немыслимо, их целая орава, да еще с наручниками. Но спустить такое над собой издевательство?! Ну же, ну же — как отбить у них охоту, раз и навсегда? Будем мыслить логически. Чего они больше всего боятся? Огласки! Так будет им огласка — и не через месяц, когда до друзей на свободе дойдет информация, а в тот же день и час! Все очень просто: мы в центре «больнички», куда свозят женщин из трех лагерей. Да еще хозобслуга, живущая здесь постоянно. Больничка переполнена, здесь уйма народу. Да у них, помимо того, связи с мужской уголовной зоной — она тут же, через забор. Получается, если мы перед кормлением успеем прокричать, кого мордуют и за что — знать это будет не меньше тысячи человек. Многие из них освобождаются вот-вот, отбыли срок. Значит, повезут информацию на свободу. А если еще прокричать телефон, по которому сообщить, — найдутся такие, что и запомнят, и сообщат. Телефон же Игоря в КГБ и без того известен — никакого дополнительного риска. Только надо начать сразу, как «гуманисты» кинутся — и как можно громче! Имена зэкам запомнить нетрудно, потому что вся больничка знает нас поименно и в лицо. Только громче, и постараться все успеть, пока не заткнут горло шлангом. Что одна не до кричит — другая дополнит.

Татьяна Михайловна колеблется:

— Как это я буду кричать? Да я и кричать не умею, никогда не приходилось. И вообще, кричать под пыткой...

Я убеждаю:

— Да не под пыткой кричать, вы под этой пыткой разве только хрипеть сможете. А до нее, когда уже станет ясно, что они таки сейчас это начнут! И не от боли же визжать, а — прокричать информацию! Ну, как уходящему поезду прокричали бы...

<ӱ.ӱ



Фото: «Бессмертный барак». Коллаж: Борис Хмельный / Медиазона

— Великанова! Врач вызывает. Хочет вас обследовать.

Так. Началось. Какой-то грохот, звон битого стекла... Это, как потом оказалось, наша сдержанная Татьяна Михайловна высадила локтем стеклянную дверь, за что я ее потом буду дразнить «хулиганкой». Крик. Да еще какой! Видно, в стрессовых ситуациях мы способны на такое, чего сами от себя не ожидали бы. В этом мне предстоит лично убедиться через несколько минут. Раечку трясет. У меня тоже сердце рвется (насколько ужаснее были эти минуты того момента, когда взялись за меня!). Но стараюсь запомнить, что она успела крикнуть, что — нет. За дверью все стихает. Значит, одолели.

— Ратушинская!

Ну, дорогие, сейчас мы с вами позабавимся. Меня несет над полом никогда еще не испытанная ярость: Татьяну Михайловну?! Вы посмели пальцем тронуть Татьяну Михайловну... Ну, вы у меня попляшете!

Шестеро мужиков в военной форме. Врач Вера Александровна Волкова. И, конечно, Подуст^[12]. Как я ни взбешена, но меня поражает и навсегда впечатывается в сетчатку ее вид. Она возбуждена необычайно: глаза горят, лицо в красных пятнах. Ноздри дрожат и раздуваются — вся она в порыве дикого, садистского восторга. Никогда я такого не видела, только в книжках про фашистов читала, но и то считала художественной метафорой.

Вера Александровна:

— Ратушинская, по инструкции мы должны на седьмой день кормить голодающих. Мы и так уже на день задержали... Может, будете есть сами?

— Я не даю своего согласия на кормление. Я голодаю в защиту Лазаревой. Вы же врач — как вы подписали ей ШИЗО?

— Ратушинская, мы должны заботиться о вашей жизни.

— А о Лазаревой, значит, вы уже позаботились? Заявляю, что могу проголодать тринадцать суток безо всякого вмешательства. Обследуйте меня — и убедитесь. Пол я при вас мыла — вы не протестовали?

— Ратушинская, будем кормить!

Это уже Подуст возжелала вставить слово. И тут на мои плечи наваливаются сзади. Локти и кисти рук вперед! Чтоб не сразу успели надеть наручники!

— Больничка, больничка! Запомните все!

И я кричу все: имена, за что голодовка, кто в ШИЗО, сколько суток и кого насильственно кормят. Орава виснет на мне, но я, видимо, в том состоянии, когда выносят сейфы из горящего здания и плечом останавливают автомобиль. Я таскаю их на себе по всей комнате и кричу, кричу — повторяю все уже по второму разу.

— Телефон четыре-четыре-три-три-девять-пять!
Киев! Игрю!
Четыре-четыре-четыре-три-три-девять-пять!
Запишите сразу!

И еще. И еще! Я не чувствую ни боли (руки уже скручены), ни веса их тел. Только чувствую, что рука, сильнее прочих прихватившая меня за плечо, дрожит.

Нет, непривычная работенка выпала сегодня наряду внутрилагерной охраны! Не тренированы они на это дело, да и отпора такого не ждали, да и потрясены предыдущей сценой. Они даже не сразу соображают, что я не кусаюсь, не лягаюсь — просто выворачиваюсь из их рук. И стыдно им (у них-то нет садистского ража), и торопятся — поскорей, поскорей прекратить мой крик! Догадались наконец, что не наваливаться на меня надо, а просто оторвать от точки опоры — и, как перышко, вскинули вверх. Скорее, с размаху — на деревянный топчан! Где уж тут соразмерить силы шестерых мужиков с моим голодовочным весом.

В моей голове с грохотом лопнул красный шар, и что было дальше — я знаю только по рассказу Татьяны Михайловны.

Оказывается, меня без памяти приволокли в тот самый бокс без окон, в «двенадцатый корпус». Так называется корпус психиатрического отделения. О, нет, не потому, что заподозрили Татьяну Михайловну и меня в ненормальности. А просто надо было изолировать понадежнее, а таких боксов в других отделениях нет. Там еле умещались две больничные койки и ведро, накрытое клеенкой — наш «туалет». На одну из этих коек меня и бросили. Сколько-то времени спустя туда же запихнули Татьяну Михайловну — все еще со скованными руками.

— Ирочка! Ирочка! Вы меня слышите?

Это было первое, что вынесло меня из черной пустоты. Слышу, слышу! Но как открыть глаза? Словно во сне, когда хочешь бежать, а ноги не слушают. Или кричишь, а голоса нет. Наконец сработали нужные мышцы (совсем не те, что я напрягала) — и вот я вижу, еле-еле из темноты — лицо Татьяны Михайловны. Вернее, два ее лица, наплывающие друг на друга. Почему темно? Что-то случилось с моим зрением? Нет, просто лампочка слабенькая, да еще в каменной нише за решеткой, а другого освещения нет. Татьяна Михайловна расталкивает меня плечами и локтями — кисти рук стянуты наручниками за спиной. Отвечаю:

— Все, все в порядке.

— Слава Богу! Что они с вами сделали?

Откуда я знаю, что они сделали. Ну, грохнули головой (видимо, затылком) о топчан. А что потом? Даже заливали или не заливали этот проклятый раствор — не знаю. Вроде бы нет — не чувствую того, что должна бы по описаниям Тани Осиповой («будто бы желудок набит камнями»). А может, перепугавшись, залили не все два литра, а чуть-чуть, для порядку? Или вообще плюнули — ведь эта мера была с самого начала задумана как пыточная, а какой смысл пытаться человека без сознания? Все равно ничего не почувствует... В общем, насилие было, а кормление — вряд ли. И голода, обязательного после этого, не ощущаю. Но утверждать не могу. Может, Вера Александровна, когда ей придет время подумать о душе, расскажет правду?

<Ÿ.Ÿ

Как ни странно, это мое сотрясение в итоге обернулось для зоны (и для меня в том числе) сущим благом: мучители наши здорово перепугались. А ну как стукнули бы чуть посильнее? Или виском? Или я была бы чуть послабее? Значит — убийство во время насильственного кормления? Скандал! Да не потому что жалко моей жизни, но ведь огласка — убили политзаключенную. Если не свидетели, то слушатели имеются в большом количестве... Такое, пожалуй, не скроешь. И где гарантия, что на другой раз все так же хорошо сойдет? Вон, пялятся в глазок каждую минуту, жива я или нет. Короче, больше они с нашей зоной никогда на такое не решались и следующих голодающих пальцем не трогали. Так я и не испытала на себе этого омерзительного насилия,

и что чувствует человек, в которого закачивают сочиненную тюремщиками жидкость, — не знаю. И слава Богу! Предпочитаю пожизненные головные боли.

На двенадцатый день голодовку прекратили, поскольку Татьяна Осипова и Наталья Лазарева вернулись в зону. Ирину Ратушинскую освободили досрочно, в 1986 году, но лишили советского гражданства — она уехала в США, где преподавала в Чикагском университете. В середине 1990-х ей предоставили российское гражданство, и она вернулась в Москву, где прожила до своей смерти в 2017 году.

Андрей Сахаров. «Горький, Москва, далее везде»

Физик-теоретик, диссидент и лауреат Нобелевской премии мира. С конца 1960-х стал одним из лидеров правозащитного движения в СССР. В декабре 1979 года осудил вторжение СССР в Афганистан, после чего был отправлен в ссылку в Горький. Там трижды держал голодовки, самую долгую — 178 дней, в апреле-октябре 1985 года — за право его жены Елены Боннэр выехать за границу на лечение. Сахарова принудительно госпитализировали и насильно кормили.

В отличие от 1984 года, я нашел некую форму сосуществования с кормящей бригадой, дававшую мне возможность неограниченно продолжать голодовку. Я обычно сопротивлялся в начале кормления, а последние несколько ложек ел

добровольно (эти моменты использованы в гебистских киномонтажах). Если кормящая бригада приходила не в полном составе, я говорил: «Сегодня у вас ничего не получится». Они молча ставили еду на столик и уходили. Я, конечно, к ней не притрагивался, а чтобы вид еды не беспокоил меня, накрывал ее салфеткой. Иногда, чтобы подчеркнуть, что я хозяин положения, я сопротивлялся в полную силу, выплевывал пищу и «сдувал» ее из поднесенной ко рту ложки. В этом случае «кормящие» применяли болевые приемы (особенно в апреле и июне), кожа щек оказывалась содранной, а на внутренних сторонах щек возникали кровоподтеки, которые потом «заботливые» врачи мазали зеленкой.



Фото: AP, The New York Times Archives, AP Wire Press Photo (ebay). Коллаж: Борис Хмельный / Медиазона

В августе мой вес начал быстро падать и к 13 августа достиг минимального значения — 62 кг 800 г (при предголодовочном весе 78-81 кг). С этого дня мне стали делать подкожные (в бедра на обеих ногах) и внутривенные вливания в дополнение к принудительному питанию. Всего мне было сделано в августе и сентябре 25 вливаний. Каждое вливание длилось несколько часов, ноги болезненно раздувались; весь этот, а иногда и следующий день я не мог ходить — ноги не сгибались.

Сахаров в итоге добился разрешения на выезд для жены. Решение, выпускать ли Боннэр, обсуждалось на заседании Политбюро ЦК КПСС в августе 1985

года. Члены Политбюро резко критиковали супругов. Секретарь ЦК Михаил Зимянин назвал Боннэр «зверюгой в юбке, ставленницей империализма», которая «будет использована против нас» на Западе.

Анатолий Марченко. «Живи как все»

Правозащитник и диссидент. Был осужден шесть раз, в заключении неоднократно держал голодовки. В первый раз Марченко был арестован в 1958 году по делу о массовой драке в рабочем общежитии, в которой не участвовал, и приговорен к двум годам заключения. Спустя год сбежал из Карлага и попытался попасть в Иран, но его задержали пограничники. В 1961 году получил шесть лет по статье об измене родине. После освобождения написал книгу «Мои показания», ее распространяли в самиздате, начал участвовать в диссидентском движении. В июле 1968 года Анатолий Марченко выступил с открытым письмом об угрозе советского вторжения в Чехословакию, спустя несколько дней его арестовали и приговорили к году заключения, а затем предъявили новое обвинение — в распространение клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй, и он получил еще два года лагерей. Выйдя на свободу, отказался эмигрировать, несмотря на принуждение со стороны властей. В 1975 году арестован по обвинению в злостном нарушении правил административного надзора и объявил голодовку, не принимал пищу 54 дня.

Все пятьдесят четыре дня голодовки мне не хотелось есть, и я ни разу не глотал слюнки,

глядя на поедаемые рядом сало или печенье. К моему удивлению, сокамерники вообще не вызывали у меня раздражения — ни бесконечными шахматами, ни дурацкими пустыми разговорами, ни демонстративной жратвой. Раньше бывало иначе, и я теперь думал: видно, старость на подходе, вот я и стал терпимее. Но вскоре после того, как я снял голодовку, я заметил, что меня, как и в былые времена, сокамерники нередко раздражают.

Только однажды я позавидовал еде моих соседей: на обед ко второму им дали по соленому огурцу. Не то чтоб они возбудили у меня аппетит, чтоб мне вообще захотелось есть; нет, вот именно огурца захотелось. Казалось, я слышу, как зубы соседей с хрустом прокусывают кожицу; я ощущал во рту намек на вкус соленого огурца, его аромат, и это дразнило меня невероятно. Но слюну глотать и тут не пришлось: ее просто не было. Рот сводило от сухости, губы потрескались, и я с них скусывал или снимал пальцами полоски сухой кожи. Часто пил — утром, даже нехотя, несколько глотков воды непременно.

А огурцы, видно, были неважные, мои сокамерники их и есть не стали: откусили по разу, и огурцы полетели в урну. У них часто и куски хлеба отправлялись туда же. Интересно: нарочно, мне напоказ? Может, в обед кинут пару кусков, а утром, опорожняя урну, проверят: все ли на месте? Но, честное слово, есть не хотелось — ни в первые три, ни в первые пять дней (приходилось слышать, что они самые трудные), ни в последнюю неделю, ни в последний день голодовки.



Фото: «Новая газета», «Такие дела». Коллаж: Борис Хмельный / Медиазона

Из заключения к книге «Живи как все», которое Марченко написал в октябре 1975 года, когда находился в ссылке в поселке Чуна Иркутской области.

Если бы кто-то спросил у меня совета, объявлять ли ему голодовку, я бы сказал: «Нет». В принципе я против голодовки, как и против самоистязания в любой форме. И такое мое отношение не есть результат личного опыта марта-апреля 1975 года. Оно сложилось раньше, я был против голодовки до, после и даже во время своей голодовки. Личный опыт добавил только то, что теперь я на самом деле ощутил и последствия этой губительной акции. Полгода спустя я чувствую себя инвалидом, не способным работать (хотя это не признано врачами в ссылке), и боюсь, не навсегда ли такое состояние.

И все-таки я не могу себя осудить за то, что, поддавшись эмоциям, объявил и долго держал голодовку. Более того, я не зарекаюсь, что в какой-то ситуации не пойду на нее снова. Чувство бессильного протеста, когда тебя держат за горло, может толкнуть на любые крайности. Таким же сильным может оказаться и сочувствие другому человеку, другим людям, доведенным до отчаяния.

Политические голодовки в СССР стали массовым явлением. Известия о них (но не обо всех!) прорываются через колючую проволоку и через

тюремные стены. Но, к сожалению, чем больше таких известий, тем менее острой становится реакция на них общественного мнения. Люди воспринимают факт — но забывают о его причинах. И не представляют себе его последствий.

Причина голодовки — крайняя степень жестокости и бесчеловечности, беззаконие и произвол властей.

Последствия голодовки — утрата здоровья, угроза жизни. Я начал голодовку «с воли», держал ее около двух месяцев, через месяц после снятия оказался в домашних условиях — и то мое здоровье подорвано. <Ѹ.Ѹ Помните: голодовки кончились, но жизнь голодавшего в опасности.

Помните: политическая голодовка — свидетельство преступного отношения властей СССР к правам своих граждан и к самой их жизни. Я не берусь что-либо советовать. Но мне кажется, что долг порядочного человека, гражданина СССР, не оставлять без внимания обстоятельства, которые доводят их соотечественников до такой крайности, как голодовка.

Мне кажется, что международное сотрудничество с советским режимом в области культуры и экономики без активного влияния на его обращение со своими гражданами поощряет его на жестокость и деспотизм. Наличие политзаключенных в стране, а тем более — их трагическое положение в наши дни уже не является внутренним делом этой страны. Контакты с жестокими диктатурами понижают нравственный уровень всего человечества. К тому же эти свойства

— жестокость, бесчеловечность, власть силы — имеют тенденцию распространяться по всему миру.

Анатолий Марченко получил шестой срок в сентябре 1981 года — 10 лет колонии строгого режима и пять лет ссылки по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде. 4 августа 1986 года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех политзаключенных СССР. Не принимал пищу 117 дней. После выхода из голодовки Марченко стало плохо, его перевезли в Чистопольскую больницу. Там он умер 8 декабря. Смерть Анатолия Марченко имела огромный резонанс по всему миру. Считается, что она подтолкнула Михаила Горбачева к тому, чтобы вернуть из горьковской ссылки Андрея Сахарова и начать процесс освобождения советских политзаключенных.

Редактор: Мика Голубовский

-
1. Генрих Ягода — в тот момент заместитель председателя ОГПУ, будущий глава НКВД.
 2. Сынок, из далеких стран люди возвращаются обратно, но с того света — никто.
 3. Последний глуповский градоначальник из романа Михаила Салтыкова-Щедрина «История одного города».
 4. Сергей Мошков — участник марксистской группы «Союз коммунаров», арестован и осужден вместе с Валерием Ронкиным.
 5. Виктор Калниньш — латвийский диссидент, арестован в 1962 году и приговорен к 10 годам лагерей за антисоветскую агитацию и пропаганду.
 6. Украинская повстанческая армия — подпольная военная организация, существовавшая с 1942 по 1949 год и боровшаяся как с немецкими, так и с советскими и польскими войсками.

7. 11-е лагерное отделение, где отбывали наказание другие политзаключенные.
8. Диссидент и украинский националист, при советской власти отсидел в общей сложности около 30 лет, в 1990-1994 и 2005-2014 годах возглавлял партию УНА-УНСО.
9. Писатель и переводчик, арестованный в 1965 году вместе с Андреем Синявским за публикацию литературных произведений за рубежом. Приговорен к 5 годам лагерей за антисоветскую пропаганду. Протесты в ходе «Процесса Синявского–Даниэля», по сути, положили начало широкому диссидентскому движению в СССР.
10. Один из лидеров баптистского движения в СССР, арестован в конце 1962 года, приговорен к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду.
11. Старший офицер госбезопасности в 17-м лагерном отделении, где проводилась голодовка, — капитан Круть.
12. Старший лейтенант Подуст — начальница отряда, к которому была приписана Ирина Ратушинская.